

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ТОМАС НИДЕРВАЛЬД

Носок тётушки Маргарет

ТРИ СНА БАНКИРА ЭШФОРДА

Роман-сказка в четырёх частях

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ · КНИГА 2 ·
ЛОНДОН · 1865

12+

Томас Нидервальд

Носок тётушки Маргарет. Три сна банкира Эшфорда

«Автор»
2026

Нидервальд Т.

Носок тётушки Маргарет. Три сна банкира Эшфорда / Т. Нидервальд — «Автор», 2026

Лондон, декабрь 1865 года. Банкиру Мортимеру Эшфорду трижды снится его старая няня: она сидит у его холодного камина и вяжет. Утром на решётке висит красный носок, мокрый от инея. Так вязала женщина, умершая в нетопленой комнате на Тули-стрит, — а её сорок фунтов до сих пор числятся в его банке «закрытыми». У скряги три сна, чтобы вспомнить детство, найти того, кто взял деньги, и вернуть из-за инея восьмилетнего мальчика. И один счёт, который сойдётся, только если сказать вслух: «Я должен».

© Нидервальд Т., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Кент, 1814 5
Часть первая. Одна головня 9
Глава первая. Город считает дни 10
Глава вторая. Ломбард-стрит, 14 14
Глава третья. Тули-стрит 19
Глава четвёртая. Первый сон 23
Глава пятая. Миссис Пеннингтон 28
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Томас Нидервальд
Носок тётушки Маргарет.
Три сна банкира Эшфорда

Пролог. Кент, 1814

Сугробы в ту зиму стояли до окон, и восьмилетний Мортимер Эшфорд считал это личной заслугой.

Он был убеждён, что снег пошёл потому, что он, Мортимер, очень этого хотел, — хотел три недели подряд, каждый вечер, лёжа под стёганым одеялом и глядя на чёрное окно, в котором отражалась свеча. Он хотел снега так сильно и так добросовестно, как хотят только в восемь лет и только тогда, когда ещё не знают, что желания бывают дороже, чем кажется. И в ночь на двадцатое декабря снег пошёл. Он шёл трое суток, без ветра, крупный и мягкий, как пух из распоротой подушки, и к утру сочельника деревенский дом Эшфордов под Севеноуксом стоял в белом по самые подоконники, а из сада видна была только верхушка солнечных часов в фетровой белой шапке.

Дом был старый, кирпичный, с низкими потолками и высокими трубами, и пах он в ту зиму тремя вещами сразу: хвоей, печёными яблоками и мокрой шерстью. Хвоей — потому что в гостиной, по новой моде, которую мать Мортимера привезла от знакомых из Ганновера, стояла настоящая ель в кадке, и на ней висели золочёные орехи. Печёными яблоками — потому что кухарка миссис Дамп пекла их каждый вечер в золе и раздавала всем, кто заходил на кухню, не спрашивая, голоден ли человек. А мокрой шерстью — потому что Мортимер приходил из сада три раза в день мокрый насквозь, и всё, что было на нём надето, развешивали у кухонного очага, где оно дымилось, как пудинг.



Кент, сочельник 1814 года. Сугробы до окон, и в окнах — свет.
Развешивала Маргарет.

Ей было семнадцать лет, и она была дочерью кузнеца из соседней деревни. Маленькая, круглая, с яблочными щеками и серыми глазами, в которых всегда сидело что-нибудь смешное, — как сидит в кармане у фокусника кролик, которого ещё не показали. Её взяли в дом прошлой весной — смотреть за мальчиком, потому что мать Мортимера болела, а отец был занят. Отец Мортимера, сквайр Эшфорд, всегда был занят: он писал письма в Лондон, получал письма из Лондона, и после каждого такого письма долго ходил по кабинету, скрипя сапогами, и в доме все говорили тише.

Маргарет говорить тише не умела.

— Опять без шарфа! — кричала она, когда Мортимер вваливался в кухню, облепленный снегом, как пирог сахарной пудрой. — Опять! Мортимер Эшфорд, у тебя голова дырявая или шарф?

— Шарф, — честно отвечал Мортимер. — Я его повесил на снеговика. Снеговику холодно.

— Снеговику, — говорила Маргарет, стаскивая с него мокрую куртку, — холодно по должности. Ему за это платят. А тебе — нет.

— Сколько платят снеговику?

— Ничего. Он работает из любви к искусству. Садись к огню. Ноги!

Ноги у Мортимера всегда были мокрые. Это было неизбежно, как Рождество: сколько ни надевай ботинок, снег найдёт дорогу. И Маргарет вязала ему носки. Она вязала всегда — сидя, стоя, разговаривая, слушая, даже, кажется, засыпая, — потому что дочь кузнеца с детства знает, что руки, которые ничего не делают, мёрзнут первыми. Спицы у неё были деревянные, отцовской работы, гладкие, как каштаны. А шерсть она покупала в Севеноуксе у старой миссис Хеп, красную, потому что красная шерсть, говорила она, теплее всякой другой: «В ней огонь сидит. Его просто не видно».

Носки она вязала двойной резинкой и на пятке завязывала узелок. Маленький, аккуратный, как точка в конце письма.

— Зачем узелок? — спросил однажды Мортимер.

— Чтобы ты знал, что это мои, — сказала Маргарет. — И чтобы я знала. Если когда-нибудь на краю света тебе попадётся носок с узелком на пятке — значит, я где-то рядом. Это такой знак.

— А если я буду на краю света, а ты — здесь?

— Значит, носок до тебя дошёл сам, — сказала Маргарет. — Хорошие носки умеют.

* * *

В сочельник варили пудинг.

То есть сварили его, как положено, ещё в последнее воскресенье перед Адвентом, когда вся семья по очереди мешала тесто большой деревянной ложкой и загадывала желания. Но в сочельник его доставали из кладовой, где он месяц зрел в льняной тряпице, как сыр или как тайна, и вешали в котёл над очагом, чтобы к завтрашнему обеду он стал горячим, тяжёлым, тёмным и пахнул так, что у собаки под столом начинали дрожать уши.

Мортимер в воскресенье мешал тесто последним, после кухарки, после конюха, после самой Маргарет, и загадал, чтобы пошёл снег. Снег пошёл. Поэтому он с особым почтением смотрел теперь на котёл, в котором булькал пудинг, — как на учреждение, которое честно выполнило заказ.

— А монетка там? — спросил он в двадцатый раз.

— Там, — сказала Маргарет в двадцатый раз. — Серебряная, шестипенсовая. Кому попадётся — тому год удачи.

— А если попадётся тебе?

— Тогда я отдам её тебе.

— Почему?

— Потому что мне удача ни к чему, — сказала Маргарет. — У меня уже есть место в хорошем доме, мешок шерсти и ты. А тебе ещё жить и жить. Тебе нужнее.

Мортимер подумал над этим с той серьёзностью, с какой восьмилетние думают о вещах, которые кажутся им несправедливыми.

— Когда я вырасту, — сказал он наконец, — у тебя будет самый тёплый дом в Англии. С двенадцатью каминами. И в каждом будет гореть огонь. Весь день. И ночью тоже.

— Двенадцать каминов, — повторила Маргарет и засмеялась. — Это сколько же угля! Ты разоришься, Морти.

— Не разорюсь. Я буду банкиром, как дядя Джошуа. У банкиров денег сколько угодно.

— У банкиров, — сказала Маргарет, и смешное в её глазах на минуту куда-то спряталось, — денег ровно столько, сколько им дали другие люди. Запомни. А теперь — ноги к огню. И надень носки. Сухие. Красные. С узелком.

* * *

Монетка попалась ему.

Это было двадцать пятого декабря, в два часа пополудни, за длинным столом в столовой, где горели все свечи и где отец впервые за месяц смеялся, — громко, раскатисто, откинувшись на спинку стула, — потому что из Лондона накануне пришло письмо, которое он прочёл в кабинете, а потом вышел, обнял жену и сказал: «Всё обошлось, Луиза. Всё обошлось». Мортимер не знал, что именно обошлось, но смех отца был лучше всякого объяснения. Пудинг внесли горящим — облитым бренди и подожжённым, синим пламенем, как в сказке, — и мать захлопала в ладоши, а кухарка миссис Дамп перекрестилась на всякий случай. Маргарет, которой по чину не полагалось сидеть за столом, стояла у двери с кувшином и смотрела на Мортимера. А Мортимер разломил свой кусок — и в нём блеснуло.

Он закричал так, что под столом залаяла собака.

— Удача! — кричал он, держа монетку над головой, как кубок. — Удача! Целый год!

И он посмотрел на Маргарет. И Маргарет у двери кивнула ему — серьёзно, как взрослому, — и прижала палец к губам: мол, не хвастайся. Но глаза у неё смеялись.

Вечером, когда свечи догорели и дом затих, она пришла укладывать его спать и принесла носки. Новые. Красные, двойной резинкой, с узелком на пятке. Они были тёплые — она грела их у кухонного очага, пока шла по лестнице.

— Это тебе, Морти, — сказала она. — Рождественские. Чтобы ноги не мёрзли.

— А что ты хочешь на Рождество? — спросил он, уже засыпая.

— Ничего, — сказала Маргарет. — У меня всё есть.

— Так не бывает.

— Бывает, — сказала она. — Редко. Сегодня как раз такой день. Спи. Не всё то тепло, что горит. Но носки — греют.

Он заснул. За окном лежал снег, который он себе нажелал. В кармане ночной рубашки лежала серебряная монетка. На ногах были красные носки. И восьмилетний Мортимер Эшфорд был в ту ночь самым богатым человеком в Кенте, хотя ещё не знал этого и потом, когда узнал, долго не мог себе простить.

* * *

Удачи хватило ненадолго.

Через три месяца, в марте 1815 года, когда снег сошёл и под ним обнаружились размокшие дороги, сломанная изгородь и прошлогодние листья, из Лондона пришло другое письмо. Сквайр Эшфорд прочёл его в кабинете и не вышел оттуда до вечера. А вечером в дом приехали двое господ в чёрном, с портфелями, и ходили по комнатам, и записывали в книжку всё: ель в кадке (уже засохшую), часы в гостиной, серебро, фортепьяно, книги, лошадей в конюшне. Мортимер ходил за ними следом и смотрел, как они пишут. Один из них, тот, что потолще, потрепал его по голове и сказал:

— Ничего, юный джентльмен. Всё на свете чего-нибудь стоит. Даже вы.

Отец потерял всё — на каком-то вкладе, на каком-то лондонском банке, который лопнул, как мыльный пузырь, на чужом обещании, которому он поверил. Дом продали в апреле. Мать увезли к родным в Бат, где она прожила ещё два года, тихо, как свеча на сквозняке. Отец уехал в Индию «поправлять дела» и не вернулся. А Мортимера отправили в Лондон к дяде Джошуа — брату матери, холостяку, банкиру с Ломбард-стрит, — у которого был банк, большой дом и правило: никогда не тратить того, что можно не тратить.

Маргарет рассчитали.

Это сделал тот самый толстый господин с портфелем, в прихожей, при Мортимере. Он открыл книжку, провёл пальцем по строчке и сказал:

— Нянька, Маргарет Пеннингтон. Жалованье — пятнадцать фунтов в год. За последнюю четверть — три фунта пятнадцать шиллингов. Не выплачено. Кредиторы, милочка, выплачивают в последнюю очередь прислуге. Таков закон. Можете подать прошение.

— Не надо прошения, — сказала Маргарет.

Она стояла в прихожей в своём сером дорожном пальто, с узелком в руках, — маленькая, круглая, — и лицо у неё было спокойное. Только смешное из глаз ушло совсем.

— Мальчик, — сказала она толстому господину, — без шарфа выходить не должен. Он всегда забывает. И ноги у него мёрзнут. Вы передайте там, в Лондоне. Кому следует.

— Передам, — сказал толстый господин и что-то записал. Наверное, «шарф».

Тогда Маргарет присела перед Мортимером, поправила ему воротник и сказала:

— Не реви. Ты же банкир.

— Я тебе отдам, — сказал Мортимер, ревя. — Три фунта пятнадцать шиллингов. Я вырасту и отдам. С процентами. И дом. С двенадцатью каминами.

— Знаю, — сказала Маргарет. — Ты отдашь. Ты честный мальчик, Морти. Только не опаздывай, ладно? Ты всегда опаздываешь.

Она поцеловала его в лоб и ушла по размокшей весенней дороге в сторону деревни, где была кузница её отца. Он смотрел из окна, пока серое пальто не стало точкой, а точка не исчезла за изгородью, которую так никто и не починил.

* * *

Так начинается эта история — с долга в три фунта пятнадцать шиллингов и с обещания, данного восьмилетним мальчиком в мокрых носках.

Я рассказываю об этом сразу, потому что не люблю, когда от читателя что-то прячут, — как не люблю, когда прячут монетку в пудинге так глубоко, что её находит собака. Вы должны знать с первой страницы, что мистер Мортимер Эшфорд, о котором дальше пойдёт речь и которого все в Сити считали самым скупым человеком на Ломбард-стрит (а на Ломбард-стрит, поверьте, есть из кого выбирать), — что этот самый мистер Эшфорд когда-то кричал от радости, найдя шестипенсовик, и плакал в прихожей, держась за серое пальто. Вы должны знать это, потому что сам мистер Эшфорд к декабрю 1865 года знать это перестал.

Он не забыл, нет. Забыть такое нельзя. Он просто запер это в какой-то ящик внутри себя, повернул ключ и положил ключ туда, где хранятся ключи от всех ящиков, которые человек не собирается больше открывать. А потом, год за годом, складывал сверху бумаги: векселя, закладные, балансы, отчёты, — пока ящик не оказался на самом дне, под горой цифр, и пока сам мистер Эшфорд не поверил, что под этой горой ничего нет.

Но ящики, которые заперты, не перестают от этого существовать. Это знает каждый банкир. И каждый, кто хоть раз в жизни прятал что-нибудь от самого себя.

А долги — даже долги в три фунта пятнадцать шиллингов — имеют обыкновение возвращаться к должнику. Иногда через суд. Иногда через пятьдесят лет. А иногда через холодный камин, в ночь на первое декабря, когда у камина кто-то сидит и вяжет.

Часть первая. Одна головня

Иней пишет на окне

Письма тем, кто там, во сне…

песенка кебмена Флетчера

Глава первая. Город считает дни

В первый день декабря тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Лондон проснулся и начал считать.

Он считал всегда — это его ремесло, как у пекаря печь, а у трубочиста лазить по трубам. Он считал пенсы в лавках и фунты в банках, тюки на пристанях и мешки на складах, головы на рынках и пассажиров в омнибусах; он считал секунды на Королевской бирже и минуты на вокзалах, он считал долги, проценты, налоги, недоимки, ставки, курсы, приходы и расходы, и считал так громко, что звон этого счёта, говорят, слышен был в ясную погоду даже в Виндзоре, где королева в чёрном вдовьем платье пила чай и делала вид, что ничего не слышит. Но в первый день декабря Лондон начинал считать по-другому. Он начинал считать дни.

— Двадцать четыре! — кричали мальчишки на Флит-стрит, раскатываясь по ледяной дорожке, которую они за ночь наполировали так, что по ней поскользнулся и сел в снег солидный джентльмен с портфелем. Джентльмен не рассердился. Он посмотрел на мальчишек, на портфель, на снег, потом сам себе удивился, засмеялся и пошёл дальше, отряхивая пальто. Это была первая рождественская странность того года, и её никто не записал.

— Двадцать четыре, — вздыхали бакалейщики на Истчипе, пересчитывая ящики с изюмом и коринкой и думая, что этого не хватит, никогда не хватает, к двадцатому всё разберут, и опять придётся посылать мальчика в Ковент-Гарден, где оптовики дерут втридорога, потому что знают, что ты придёшь.

— Двадцать четыре, — говорили в Мейфэре дамы, разворачивая каталоги «Либерти», и мужья их, прочитав через плечо цену шёлкового платка, тоже считали — молча и с другим выражением лица.

— Двадцать четыре, — говорили в Саутварке, за Лондонским мостом, и снимали с полок жестяные банки.

Об этих банках надо сказать отдельно, потому что от них в нашей истории многое зависит.

В Саутварке, как и во всех бедных кварталах Лондона, на Рождество не покупали гуся. На гуся копили. Это была целая наука, со своими правилами, своими хранителями и своими еретиками. Хороший гусь на Лиденхолл-маркет стоил семь шиллингов. Для прачки, зарабатывающей шиллинг шесть пенсов в день, семь шиллингов — это почти неделя стирки, а неделю стирки на гуся не отдашь: у прачки есть комната, за которую платят по субботам, дети, которые едят каждый день, и уголь, который в декабре кончается быстрее, чем в октябре, хотя мешок стоит столько же — шиллинг и четыре пенса. Поэтому гуся откладывали понемножку. По два пенса в неделю. С января. В банку.

Банку ставили на полку, повыше, чтобы не достали дети и не достала нужда. Нужда, конечно, доставала всё равно — она высокая, нужда, выше любой полки, — и в иной год банка пустела к лету и наполнялась заново к осени. Но в хороший год в декабре в ней лежало восемь шиллингов и шесть пенсов, и тогда двадцать четвёртого декабря мать семейства надевала праздничный чепец, брала банку под мышку и шла на рынок с таким лицом, с каким, наверное, ходил Цезарь переходить Рубикон. А дети бежали следом.

Многие откладывали не в банку, а в «гусиный клуб» — это когда трактирщик или лавочник собирает по два пенса со всей улицы, ведёт книгу, а под Рождество закупает гусей оптом и раздаёт. Бывало, что трактирщик за неделю до Рождества исчезал вместе с книгой, гусями и деньгами, и тогда вся улица шла смотреть на запертую дверь, как ходят смотреть на пожарище. Поэтому люди осторожные копили сами. Банка, по крайней мере, никуда не уезжает.

Я рассказываю об этом так подробно потому, что в нашей истории будет много денег — фунтов, шиллингов и пенсов, вкладов и процентов, книг и счетов, — и я хочу, чтобы читатель

с самого начала помнил: самые важные деньги в Лондоне лежат не в подвалах Английского банка. Они лежат в жестяных банках на полках Саутварка. Потому что подвалы Английского банка, если их опустошить, наполнятся снова — им есть откуда. А банку с надписью «ГУСЬ» наполнить заново может только целый год жизни.

* * *

Снег в тот год выпал рано, в последних числах ноября, и не растаял.

Это было событие. В Лондоне снег обычно не лежит — он падает, пачкается сажей, превращается в бурую кашу и стекает в канавы раньше, чем кто-нибудь успеет на него порадоваться. Лондонский снег — как лондонская бедность: его много, но его никто не замечает. А в тот год он лёг и лёг, и пролежал неделю, и ещё неделю, и даже трубы десяти тысяч каминов, которые дымили над городом день и ночь, не могли его зачернить до конца. Крыши стояли белые. Каменные короли на фасаде собора Святого Павла носили белые шапки, а золотой крест на куполе — белую оторочку, будто кто-то пришил к нему горностай. Монумент у Пудинглейн, колонна в память Великого пожара, по утрам весь, от основания до золотого пламени наверху, был в инее, как в сахаре, и мальчишки-посыльные спорили на пенни, растает пламя или нет.

Оно не таяло. Оно было бронзовое.

По Темзе плыли льдины — небольшие, серые, круглые, как блины на масленой неделе, — и лодочники ругались, отталкивая их шестами, а старики на набережной говорили, что если так пойдёт, то встанет лёд, как в четырнадцатом году, и будет опять ярмарка на реке, с каруселями и жареным быком. Старикам никто не верил. Старикам вообще редко верят, особенно когда они правы.

Город пах углём, конским навозом, печёными каштанами, апельсинами, мокрой шерстью и горячим хлебом. Он гремел колёсами омнибусов по обледенелой брусчатке и звенел колокольчиками на хомутах. Он пел — на углах, у церквей, под окнами, — потому что в декабре в Лондоне поют все, кто умеет и кто не умеет, а особенно те, кто не умеет. Он торговал. Боже мой, как он торговал! На рынке Лиденхолл гуси и индейки висели рядами, головами вниз, белые, жирные, бесконечные, как полотенца в бане какого-нибудь великана, и над ними на крюках, под самым стеклянным сводом, висели зайцы, фазаны и венки из остролиста. В витринах Риджент-стрит сидели фарфоровые куклы с настоящими ресницами — по фунту за каждую — и смотрели на улицу голубыми стеклянными глазами так равнодушно, словно знали, что ни одна девочка из Саутварка их никогда не получит, и не видели в этом трагедии.

В Лондоне на Рождество у всех одинаковый снег. Но не у всех одинаково тёплые башмаки.



Лондон, декабрь 1865 года. Над Монументом — бронзовое пламя, над крышами — дым десяти тысяч каминов.

* * *

И среди всего этого шума, запахов, света и пения, среди сотен лавок, тысяч окон и миллионов людей, на Ломбард-стрит, в доме номер четырнадцать, был один камин, в котором горела одна головня.

Ломбард-стрит — улица банков. Они стоят там плечом к плечу, как гвардейцы на параде, — серые, каменные, с колоннами, с медными табличками и окнами, забранными решётками, — и если по какой-нибудь улице Лондона можно понять, что такое деньги, то именно по этой. Деньги на Ломбард-стрит не шумят. Они не пахнут, не поют, не звенят колокольчиками. Они лежат. Они лежат в подвалах, в сейфах, в железных ящиках, в толстых книгах с медными застёжками, — лежат тихо, как спящие звери, и только иногда, раз в несколько лет, просыпаются и съедают кого-нибудь: какого-нибудь сквайра из Кента, или какого-нибудь купца из Ливерпуля, или какой-нибудь банк по соседству, который вчера ещё стоял в строю, с колоннами и медной табличкой, а сегодня стоит с заколоченными окнами. Так было в шестьдесят шестом с «Оверенд и Герни» — но это случится позже, и это уже другая история. А в шестьдесят пятом все ещё стояли в строю.

Банк «Эшфорд и Ко» стоял в строю дольше многих. Он был основан в 1791 году Джошуа Эшфордом — сыном сукноторговца из Ипсвича, человеком, про которого говорили, что он однажды выбросил старые сапоги, предварительно срезав с них подмётки на заплаты для новых. В 1833 году Джошуа Эшфорд умер — в своей конторе, за своим столом, с пером в руке, дописав строчку в балансе и поставив под ней точку. Говорили, что точку он поставил сам. Банк перешёл к племяннику, Мортимеру, которого дядя восемнадцать лет учил двум вещам: считать и не тратить. Мортимер оказался способным учеником. Через десять лет после смерти дяди про него говорили, что он выбросил бы старые сапоги не раньше, чем срезал бы с них и подмётки, и каблуки, и шнурки, — да и то подумал бы.

Банк был надёжный. Самый надёжный в Сити. Он не давал денег в рискованные предприятия, не покупал акций железных дорог, не страховал корабли, не ссужал герцогов и не играл на бирже. Он только хранил. Он брал чужие деньги и держал их у себя, бережно, как держат в руках хрупкое, и платил за это маленький процент — два с половиной годовых, — и

брал за услуги маленькую плату, и давал под залог маленькие ссуды под большой процент, и из всех этих маленьких сумм в его подвалах, год за годом, вырастали большие. Это было скучно, как вязание. И так же надёжно.

В банке «Эшфорд и Ко» никто никогда ничего не тратил. В этом был его секрет.

* * *

Мистеру Мортимеру Эшфорду в декабре 1865 года было пятьдесят девять лет.

Он был высокий и сухой, как трость, на которую давно никто не опирается. Он был лыс — совершенно и окончательно, с тем ровным, гладким, бледным блеском, какой бывает у старой слоновой кости, — и только над ушами у него оставались две полоски волос, седых и коротких, похожих на пыль, которую забыли стереть. Лицо у него было длинное, с тонким носом и тонкими губами, с глубокими складками от носа к углам рта — такими глубокими, что казалось, будто лицо когда-то было сложено пополам, как письмо, и с тех пор так и не разгладилось. Глаза у него были серые. Когда-то они были серые, как зимнее небо над Кентом. Теперь — как зола.

Он носил серый сюртук, серые брюки, серый жилет без цепочки (цепочка — это украшение; украшение — это расход) и серые перчатки. Перчатки он не снимал никогда — ни в конторе, ни на улице, ни за обедом, ни, говорили злые языки, во сне. Злые языки ошибались только наполовину: во сне он перчатки снимал, но надевал вязаные митенки, потому что в спальне у него было холодно. В спальне у него было холодно всегда.

Он ел хлеб и пил воду. Не потому, что не мог себе позволить мяса, — он мог себе позволить, вероятно, мясную лавку целиком, вместе с мясником, его женой, его детьми и его собакой. А потому, что считал. Фунт говядины — восемь пенсов. Фунт хлеба — неполный пенни. Сытость примерно одинаковая. Разница — семь пенсов в день. Семь пенсов в день — это десять фунтов в год, это двести фунтов за двадцать лет, это с процентами… Он знал, сколько это с процентами. Он знал это так же хорошо, как другие люди знают «Отче наш», и повторял так же часто.

Чай он не пил. Чай стоил три шиллинга фунт.

Свечу он гасил, когда думал. Это была его самая известная привычка, о ней знала вся Ломбард-стрит и посмеивалась над ней в тавернах: «Эшфорд думает — значит, в конторе темно». Он садился в кресло, складывал перед собой руки в серых перчатках, задувал свечу и сидел в темноте, иногда полчаса, иногда час, и думал. О чём он думал — не знал никто.

— Думать можно и в темноте, — говорил он, если кто-нибудь осмеливался спросить. — Это бесплатно.

И в камине у него горела одна головня. Одна — утром, в восемь часов, когда приходил младший клерк. Её зажигали, она горела до одиннадцати, потом тлела до часу, потом гасла, и до вечера в конторе было так холодно, что чернила в чернильнице к четырём часам густели, как патока, и их приходилось разбавлять, дыша на них.

Мешок угля стоил шиллинг и четыре пенса. Мистер Эшфорд считал, что одной головни хватает, если сидеть смирно и думать о тёплом.

О тёплом, впрочем, он не думал. Он не думал о тёплом уже лет тридцать. Тёплое, как и всё остальное, что не приносит процентов, лежало в том ящике, на самом дне, под горой бумаг.

А ящик был заперт.

До первого декабря.

Глава вторая. Ломбард-стрит, 14

Контора банка «Эшфорд и Ко» состояла из одной большой комнаты, одной маленькой, одной лестницы вниз и одной лестницы наверх.

По лестнице вниз спускались в подвал, где за тремя дверями — дубовой, железной и снова железной, с тремя замками каждая — стояли сейфы. Ключи от сейфов были у двоих: у мистера Эшфорда и у управляющего. По лестнице наверх поднимались в две комнаты, где мистер Эшфорд жил. В маленькой комнате конторы он работал. А в большой работали остальные.

Остальных было двое. Я назову их сейчас, потому что оба они ещё сыграют в этой истории свои роли, — один хорошую, другой плохую, — но читатель, конечно, сам решит, какую кто, и, может быть, решит не сразу. Так бывает в жизни. Так бывает и в романах, если их пишут честно.

У окна, на высоком табурете, за высокой конторкой, сидел младший клерк Уильям Фэрроу.

Ему было двадцать два года. Он был тонкий, бледный, с длинной шеей, которая торчала из воротника, как стебель из горшка, и которую он обматывал старым шарфом цвета высохшей горчицы. Шарф связала ему мать, давно, когда ещё могла вязать. Волосы у Фэрроу были светло-каштановые, мягкие, и падали на лоб, и он отбрасывал их назад пальцами, на которых всегда были чернила, — так что к вечеру на лбу у него оставались синие полосы, как у дикаря на картинке из книги о путешествиях. Он писал красивым почерком — круглым, ровным, «конторским», за который его и взяли в банк семь лет назад, пятнадцатилетним, из приходской школы Сент-Джордж в Саутварке. Жалованье у него было фунт в неделю. Из этого фунта он отдавал четыре шиллинга за комнату, где жил с матерью, шиллинг шесть пенсов — за уголь, семь шиллингов — на еду, два — на лекарства для матери, и ещё шиллинг — в кружку для бедных в церкви Сент-Джордж, потому что мать говорила, что есть люди беднее, и это была правда, хотя иногда Уильяму Фэрроу казалось, что эти люди живут где-то очень далеко.

Остальное он откладывал. На что — он и сам не знал. «На потом».

Иногда, когда никто не видел, — а в конторе «Эшфорд и Ко» почти никто никогда не видел, потому что смотреть было не на что, — Фэрроу писал на полях счетов стихи. Маленькие, в четыре строчки. Про снег на крыше напротив, про голубя на карнизе, про девушку в синем капоре, которая каждое утро в половине девятого проходила по Ломбард-стрит и никогда не поднимала глаз. Потом он стирал их хлебным мякишем. Хлебный мякиш он приносил из дома специально для этой цели, в бумажке, — и это, если подумать, было единственной роскошью, которую он себе позволял на службе.

А за большим столом посредине комнаты, лицом к двери, сидел управляющий, мистер Сайлас Блэкуэлл.

Ему было сорок три года. Он был высокий — выше Эшфорда, — худой, в чёрном сюртуке, застёгнутом на все пуговицы до самого горла, и с бледным, гладко выбритым лицом, на котором не было ни одной лишней черты — как не бывает лишних цифр в хорошо сведённом балансе. Волосы у него были тёмные с проседью, гладко зачёсанные назад и смазанные чем-то, отчего они блестели, как мокрая черепица. Глаза — светлые, почти бесцветные, и смотрели они всегда немного мимо собеседника, куда-то за его левое плечо, будто там стоял кто-то третий, с кем мистер Блэкуэлл советовался.

На поясе у него висела связка ключей. Сорок ключей — от сейфов, от ящиков, от шкафов, от подвала, от книг с медными застёжками, от двери на улицу и от двери на лестницу. Сорок. Он сам их пересчитывал каждое утро — Фэрроу видел это не раз: Блэкуэлл снимал связку с пояса, клал на стол и перебирал ключи один за другим, шевеля губами, как перебби-

рают чётки. Когда он шёл, связка звякала, а сапоги — хорошие, дорогие сапоги — скрипели. Поэтому Блэкуэлла всегда было слышно раньше, чем видно. Это было, пожалуй, единственное, что в нём нравилось Фэрроу.

Перчаток Блэкуэлл не носил вовсе. Ни в конторе, ни на улице. Руки у него были синие от холода — длинные, худые, с крупными суставами, — и он держал их на столе перед собой, сложив пальцы домиком, и не грел, и не тёр, и не дышал на них, как дышал Фэрроу. Будто ему не было холодно. Или будто он не считал холод достаточно важной вещью, чтобы обращать на него внимание.

— Цифры не мёрзнут, мистер Фэрроу, — сказал он однажды, когда Фэрроу, не выдержав, подул на пальцы слишком громко. — Мёрзнут только люди. А люди — не наша забота.

Фэрроу запомнил эту фразу. Он вообще запоминал фразы, — это свойство всех, кто пишет стихи на полях счетов, — и потом, вечером, дома, повторял их про себя и думал, что бы на них можно было ответить. На эту фразу он ответа так и не придумал. Но через три недели, в сочельник, ответ придёт сам. Правда, не от Фэрроу.

* * *

В четверг тридцатого ноября, в последний день осени, в половине третьего пополудни, дверь конторы открылась, и вошла девочка.

Она вошла не сразу. Сначала она долго стояла снаружи, на ступеньках, — Фэрроу видел её через окно: маленькая фигурка в зелёном, с тёмными косами, без пальто, в одном платке поверх платья, стояла у двери и смотрела на медную табличку «Эшфорд и Ко. Основан в 1791», как смотрят на дверь дантиста. Потом она подняла руку, подержала её у дверной ручки, опустила. Подняла снова. И, наконец, вошла, впустив в контору волну холодного воздуха, — что было довольно странно, потому что в конторе и так было холодно, и Фэрроу не думал, что может стать ещё холоднее. Но стало.

Девочке было лет тринадцать. У неё было бледное, серьёзное лицо с серыми глазами, — не по годам серьёзное, как у маленьких взрослых, которых нужда рано выучила держать лицо, — и тёмные косы, заплетённые туго и аккуратно. Платье на ней было зелёное, шерстяное, явно перешитое из женского: в плечах ещё виднелись следы старых швов, и подол был подшит дважды. Поверх платья — серый платок. На ногах — башмаки, которые были ей велики и которые она, видимо, набила бумагой. А на шее, на шнурке, висела маленькая медная вещица — Фэрроу не сразу понял, что это напёрсток.

Она так замёрзла, что не сразу смогла заговорить. Губы у неё были синие. Фэрроу показалось, что он её где-то видел — давно, может быть, год или два назад, — но вспомнить где он не смог.



Контора банка «Эшфорд и Ко». Одна головня в камине, Фэрроу на высоком табурете — и девочка с письмом из приюта.

— Письмо, сэр, — сказала она наконец, глядя на Блэкуэлла, потому что он сидел посередине и был похож на главного. — От «Дома Джека и Билли». Для мистера Эшфорда. В собственные руки.

— Мистер Эшфорд занят, — сказал Блэкуэлл, не поднимая глаз. — Оставьте на столе.

— В собственные руки, сэр, — повторила девочка. — Миссис Хиггинс велела. Она сказала: в собственные, и чтобы подождала ответа.

Блэкуэлл поднял глаза — светлые, бесцветные, — и посмотрел на девочку. Точнее, мимо неё, за её левое плечо. Девочка не отвела взгляда. Она смотрела прямо на него, и Фэрроу, который всё это видел со своего табурета, подумал, что эта девочка — первый человек на его памяти, кто смотрит на мистера Блэкуэлла прямо. Даже мистер Эшфорд смотрел на Блэкуэлла как-то сбоку.

Тут дверь маленькой комнаты открылась, и вышел мистер Эшфорд.

— Что за шум? — спросил он, хотя шума не было.

— Письмо от приюта на Тули-стрит, сэр, — сказал Блэкуэлл. — Девочка настаивает на собственных руках.

Мистер Эшфорд взял письмо из рук девочки — двумя пальцами в серой перчатке, за уголок, как берут что-нибудь, что может испачкать, — распечатал, не снимая перчаток (сургуч треснул и посыпался на пол красной крошкой), и прочёл. Он читал быстро, как все люди, которые всю жизнь читают одни только цифры: глаза его пробежали по строчкам, нашли в них цифры, остановились на цифрах и больше никуда не смотрели.

— Приют просит на Рождество угля, — сказал он вслух, как говорят о погоде. — Двадцать мешков. И тёплых одеял — сорок штук. И, если возможно, что-нибудь детям к празднику. Миссис Тэбита Хиггинс, смотрительница. Почерк неразборчивый. Приют получает от нашего банка каждый месяц… Мистер Блэкуэлл?

— Пять фунтов, сэр, — сказал Блэкуэлл.

Связка ключей у него на поясе звякнула, хотя он не пошевелился. Фэрроу отчётливо это слышал. Потом он долго думал, не показалось ли ему. Ключи не звенят сами по себе. Но в ту зиму в Лондоне многое делало то, что делать не должно.

— Пять фунтов, — подтвердил Блэкуэлл. — Записано. Ежемесячно, с апреля, согласно решению совета попечителей, в котором наш банк участвует как… благотворитель.

— Пять фунтов, — повторил мистер Эшфорд и сложил письмо пополам. — Этого достаточно. Это шестьдесят фунтов в год, мисс. Шестьдесят фунтов. Знаете, сколько это?

— Знаю, сэр, — сказала девочка.

— Вряд ли. Это годовое жалованье трёх клерков. Это семьдесят пять мешков угля в месяц. Это… — Он остановился, потому что не любил считать вслух при посторонних, это было всё равно что раздеваться при посторонних. — Этого достаточно. Передайте миссис Хиггинс, что банк «Эшфорд и Ко» исполняет свои обязательства полностью и в срок. Что касается Рождества, мисс, то Рождество — это двадцать пятое декабря. Обычное число. В этот день банк закрыт, что само по себе является значительным убытком для его клиентов, и я не вижу причины умножать убытки подарками.

Он говорил это, глядя на письмо, а не на девочку. Если бы он посмотрел на девочку, он, может быть, заметил бы, что она стоит очень прямо и что медный напёрсток у неё на шее она сжала в кулаке. Но он не посмотрел.

А девочка посмотрела на Блэкуэлла.

Она посмотрела долго. Потом медленно разжала кулак и посмотрела на напёрсток, будто проверяя, на месте ли он. Напёрсток был на месте. Только, кажется, стал тяжелее.

В приюте на Тули-стрит все знали, сколько присылает банк «Эшфорд и Ко». Это знала миссис Хиггинс, которая расписывалась в получении. Это знала кухарка, которой отдавали деньги на рынок. Это знали старшие девочки, которые помогали на кухне. Банк присылал два фунта в месяц. Не пять. Два.

Девочка открыла рот — и закрыла его.

Потому что спорить в банке, где горит одна головня, с человеком в чёрном сюртуке, у которого сорок ключей на поясе, — это всё равно что спорить с сосулькой, свисающей с карниза. Сосулька не услышит. А если услышит — то сорвётся и упадёт тебе на голову. Это знает каждый ребёнок, который вырос в Саутварке. А девочка выросла в Саутварке.

— Спасибо, сэр, — сказала она. — Я передам.

Она сделала книксен — неловко, потому что башмаки были велики, — и вышла, впустив в контору ещё одну волну холода. Колокольчик над дверью звякнул ей вслед.

Мистер Эшфорд вернулся в маленькую комнату и закрыл дверь. Блэкуэлл снова сложил пальцы домиком. Фэрроу посмотрел в окно: девочка шла по Ломбард-стрит в сторону Лондонского моста, очень прямо, не оглядываясь, и снег падал ей на косы.

Потом Фэрроу посмотрел в свою книгу.

Это была толстая книга в зелёном переплёте, с медными застёжками, — «Книга пожертвований и благотворительных выплат», — и вёл её он, Фэрроу, своим круглым конторским почерком, под диктовку Блэкуэлла, раз в месяц. Он открыл её на странице «Дом Джека и Билли, Тули-стрит, Саутварк». Апрель — пять фунтов. Май — пять фунтов. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь — пять фунтов, пять фунтов, пять фунтов. Его собственный почерк. Его собственные цифры.

А деньги в приют отвозил Блэкуэлл. Сам. Лично. Каждый первый понедельник месяца. «Благотворительность, мистер Фэрроу, не терпит посредников».

Фэрроу подул на пальцы. Потом закрыл книгу и ничего не сказал.

Пока что.

* * *

Если бы я был одним из тех писателей, которые любят держать читателя в напряжении, я бы не стал говорить сейчас, кто прав — девочка или книга. Я бы дал читателю помучиться до сорок пятой главы, а потом, на сорок шестой, в гостиной, при свечах, собрал бы всех подозреваемых и торжественно назвал виновного. Это хороший способ. Им пользуются лучшие из нас.

Но я не люблю мучить людей перед Рождеством. Поэтому скажу сразу: права девочка.

Однако то, что виновный известен, ещё не значит, что история окончена. Знать, кто взял, — это половина дела. Вторая половина — доказать. А третья половина (да, в рождественских историях бывает три половины; это одно из их главных преимуществ перед арифметикой) — вернуть взятое тем, у кого взяли. А это, поверьте старому рассказчику, гораздо труднее, чем найти виновного. Виновного можно найти в один вечер. Чтобы вернуть взятое, иногда не хватает жизни.

Мистеру Эшфорду, как мы увидим, хватило трёх снов.

Глава третья. Тули-стрит

Тули-стрит тянется вдоль Темзы от Лондонского моста на восток, к Бермондси, и пахнет она рекой, пряностями и кожей.

Рекой — потому что за домами по левую руку, если идти от моста, стоят склады и пристани, и над ними качаются мачты, и чайки кричат над крышами так пронзительно, будто им недоплатили. Пряностями — потому что в складах лежит то, что привозят корабли: чай из Кантона, перец с Малабара, корица с Цейлона, мускатный орех с островов, названия которых знают только моряки и бакалейщики, — и запах этот сочится сквозь кирпичные стены, как вода сквозь промокашку, так что в ветреный день на Тули-стрит можно чихнуть от гвоздики, не видя ни одного гвоздичного бутона. А кожей — потому что за Тули-стрит, к югу, начинаются кожевни, где дубят шкуры в ямах с корой и где воздух такой густой и бурый, что его, кажется, можно резать ножом и продавать на вес.

В двух шагах от моста, на углу, стоит церковь Святого Олава — Сент-Олав, — старая, тёмная, квадратная, с невысокой башней и часами на башне, которые всегда отстают на пять минут, отчего на Тули-стрит все всюду опаздывают ровно на пять минут и считают это нормой. А в пятидесяти ярдах от церкви, если идти на восток, весной 1865 года открылся приют.

Это был высокий кирпичный дом в четыре этажа, бывший склад торговца хмелем, — купленный на деньги, собранные по подписке после одной декабрьской истории, о которой в Саутварке говорили потом много лет и которую, если читатель с ней не знаком, я не стану пересказывать: она рассказана в другой книге, и рассказана, надеюсь, неплохо. Скажу только, что в ту зиму, в декабре 1864-го, на Пудинг-лейн произошло нечто такое, после чего целый Лондон на неделю перестал есть леденцы, банк «Пеннивейт и Ко» лопнул, а один инспектор Скотленд-Ярда получил повышение, хотя предпочёл бы получить назад тех, кого в ту зиму потерял. И после этого добрые люди собрали деньги и открыли приют. И назвали его в честь двух мальчиков, которым этот приют был бы нужен, если бы они дожили.

Над дверью висела доска: «Дом Джека и Билли. Приют для сирот прихода Сент-Олав». Буквы были золотые. Их рисовал маляр из Бермондси и не взял денег.

В приюте жило сорок два ребёнка — от трёх до четырнадцати лет. Мальчики — на третьем этаже, девочки — на четвёртом, на втором — классная комната и столовая, на первом — кухня, прачечная и комната смотрительницы. Смотрительницу звали миссис Тэбита Хиггинс.

Миссис Хиггинс было пятьдесят лет. Она была вдовой сержанта Сорок второго пехотного полка, павшего под Севастополем, и от покойного мужа ей достались медаль, пенсия в четырнадцать фунтов годовых, громкий голос и убеждение, что порядок — это любовь, которая не спит. Она была высокая, широкая, румяная, с седыми буклями под чепцом и с руками прачки, — и когда она шла по коридору, сорок два ребёнка узнавали об этом по звуку, как узнают о приближении грозы. Но гроза эта была добрая. Она гремела, но не била. Миссис Хиггинс за полгода ни разу не подняла руки ни на одного ребёнка, что в лондонских приютах того времени было почти таким же чудом, как непогашенная лампа в конторе мистера Эшфорда.

— Порядок, — говорила миссис Хиггинс, — это не розга. Порядок — это когда каждый знает, где его ложка. И где его кровать. И кто его любит. Остальное приложится.

Приложить, однако, было нечего. Денег в приюте не хватало никогда. Подписка, собранная после той зимы, ушла на покупку дома, на кровати, на одеяла, на ремонт крыши, которая протекала, как решето, и на первые месяцы содержания. А потом пожертвования стали приходить всё реже, как реже приходят письма от человека, который сначала очень жалел тебя, а потом нашёл себе другие заботы. Лондон добр, но рассеян. Он отдаёт последнее — и тут же забывает, кому отдал.

Оставались постоянные жертвователи. Их было четверо. Чайная лавка «Дадли и сын» с Истчипа — мешок сахара и ящик чая в месяц и, по средам, старая миссис Лавиния Дадли, которая приходила читать детям вслух. Пекарь Хамфри Бэйкер с Боро — хлеб, булки, обрезки. Лавочник Эбенезер Хоббс, напротив, через улицу, — мыло, свечи, нитки, «а по деньгам — извините, сударыня, у меня у самого книга долгов толще Библии». И банк «Эшфорд и Ко» на Ломбард-стрит — два фунта в месяц, наличными, которые привозил лично управляющий банка, мистер Блэкуэлл, в первый понедельник месяца, всегда в одно и то же время, всегда в одном и том же чёрном сюртуке, и всегда просил расписаться не в книге, а на отдельном листке. «Для нашей отчётности, миссис Хиггинс».

Миссис Хиггинс расписывалась. Два фунта — это два фунта. Дарёному коню в зубы не смотрят. Даже если у коня сорок ключей на поясе.

* * *

Джейн Пеннингтон вернулась с Ломбард-стрит в начале пятого, когда уже стемнело и на Тули-стрит зажгли фонари.

Она шла через Лондонский мост и считала фонари — их было двадцать восемь, по четырнадцать с каждой стороны, — потому что считать было легче, чем думать. Под мостом ворочалась Темза, чёрная, с серыми льдинами, и по ней ползли огни барж. Ветер с реки пробирался под платок и под платье и ощупывал её холодными пальцами, как карманник. Ей было холодно. Ей всегда было холодно последние два года. Она к этому привыкла, как привыкают к башмакам не по ноге.

В приюте её ждала миссис Хиггинс — в коридоре, у двери, с лампой.

— Ну? — сказала миссис Хиггинс.

— Он сказал, пять фунтов — это достаточно, — сказала Джейн. — Он сказал, что банк исполняет обязательства полностью.

Миссис Хиггинс помолчала. Лампа у неё в руке не дрогнула. Только букли под чепцом, кажется, стали ещё седее.

— Пять, — сказала она. — Так он сказал. Пять.

— Да, мэм.

— А тот, второй? В чёрном?

— Он тоже сказал «пять». Это он сказал первый.

Миссис Хиггинс снова помолчала. Потом поставила лампу на подоконник, сняла с Джейн мокрый платок, накинула на неё свою шаль — тяжёлую, шерстяную, пахнущую кухней и мылом, — и сказала:

— Иди наверх. К брату. Он тебя три часа ждёт, всем надоел. И ни слова никому. Слышишь? Ни слова.

— Да, мэм.

— Пять, — повторила миссис Хиггинс, когда Джейн уже поднималась по лестнице. — Матерь Божья. Пять.

Это был первый раз, когда кто-то, кроме Джейн, заметил, что цифры не сходятся. Но миссис Хиггинс была вдовой сержанта, а не бухгалтера, и она не знала, что делать с цифрами, которые не сходятся. Сержант на её месте построил бы роту и пошёл в атаку. Миссис Хиггинс, подумав, решила подождать до первого понедельника. И ошиблась, — как ошибаются все, кто ждёт, пока зло само придёт и распишется в получении.

* * *

Питер ждал её на четвёртом этаже, в коридоре девочек, куда мальчикам ходить запрещалось. Он сидел на подоконнике у круглого окна в конце коридора, поджав ноги, с деревянной лошадкой на коленях, и смотрел на лестницу так, как смотрят на дверь собаки, когда хозяин ушёл.

Ему было восемь лет. Он был курносый, весь в веснушках, которые зимой бледнели, но не исчезали совсем, а только переходили на более скромное положение, как отставные офицеры. Волосы у него были рыжеватые, и надо лбом торчал вихор, который не слушался ни гребня, ни воды, ни даже миссис Хиггинс, — а миссис Хиггинс слушались все. Переднего зуба у Питера не было: он потерял его в октябре, кусая сухарь, и очень этим гордился, и показывал дыру всем, кто соглашался смотреть, и многим, кто не соглашался. На нём была серая приютская курточка, на два размера больше, — на вырост, — и такие же серые штаны.

Лошадку звали Капитан. Она была деревянная, с облупившейся краской и без хвоста. Хвост у неё когда-то был — из настоящего конского волоса, — но его потеряли ещё в прошлой жизни, до приюта. Лошадку вырезал из обрезка доски гробовщик мистер Грэйвз, тот самый, что хоронил тётю Маргарет, — вырезал прямо там, на кладбище, пока могильщики засыпали яму, чтобы мальчику было чем занять руки. Питер про гробовщика помнил только, что тот был очень длинный и говорил шёпотом. А лошадку помнил всю, до последней щербинки.

— Джейн! — закричал он, увидев сестру, и спрыгнул с подоконника. — Ну что? Дали? Будет уголь? А подарки будут? Миссис Хиггинс говорила, что если банк даст, то будут апельсины. По одному на каждого. Это сорок два апельсина! Ты знаешь, сколько это — сорок два апельсина?

— Знаю, — сказала Джейн.

— Это гора! — сказал Питер. — Это до потолка!

— Не дали, — сказала Джейн.

Питер остановился. Лицо у него сделалось такое, какое бывает у очень маленьких детей, когда им сообщают что-нибудь несправедливое, — не обиженное, а изумлённое, будто ему сказали, что дважды два — пять.

— Почему?

— Потому что банкиры, — сказала Джейн, — считают, что Рождество — это обычное число.

Питер подумал. Потом сказал:

— Значит, они не умеют считать.

И Джейн засмеялась. Она не хотела смеяться — она устала, замёрзла, ей было обидно и страшно, — но засмеялась, потому что Питер был прав, и потому что он сказал это с таким серьёзным лицом, и потому что дыра на месте зуба при этом свистела.

Она села на подоконник и посадила брата к себе на колени, хотя он был уже большой для этого и в другое время ни за что бы не позволил. За круглым окном лежала Темза, а над Темзой — Сити, тысяча освещённых окон, купол Святого Павла и, правее, колонна Монумента с золотым пламенем наверху, которое в свете фонарей горело тускло, как старая монета.

— Джейн, — сказал Питер. — А тётя знает, что мы здесь?

— Знает, — сказала Джейн.

— Откуда?

— Она всё знает. Она всегда всё знала. Помнишь, как она знала, что ты съел варенье, хотя тебя никто не видел?

— У меня было варенье на носу, — объяснил Питер.

— Вот видишь. Она всё замечала.

Питер полез за пазуху и достал оттуда носок.

Это был красный носок, шерстяной, вязанный двойной резинкой. Недовязанный: у него была резинка, был паголенок, а пятки не было — вместо пятки из последних петель торчали четыре деревянные спицы, гладкие, как каштаны. Спицы были старые, тёмные от рук. Тётушка Маргарет говорила, что их вырезал её отец, кузнец, — «он и по дереву умел, и по железу, и по сердцу», — и что этими спицами она навязала за жизнь столько носков, что ими можно было бы обмотать Лондон вдоль всей Темзы, от Ричмонда до Гринвича. Последний носок она

вязала Питеру. На Рождество 1863 года. И не довязала. Потому что в начале января ослепла совсем, а четырнадцатого января умерла.

Питер спал с носком под подушкой. Каждую ночь. Миссис Хиггинс сначала хотела отобрать — «негигиенично, и спицы, глаз выколешь», — а потом посмотрела на его лицо, когда он спал, и отбирать не стала.

— Тётя довяжет, — сказал Питер, расправляя носок у себя на колене. — Она просто вышла.

Джейн не спорила. Она никогда не спорила с ним об этом. Она поправила ему вихор (вихор тут же поднялся обратно), поцеловала в макушку и отправила спать — вниз, на третий этаж, к мальчикам, пока миссис Хиггинс не поймала его в коридоре девочек.

А сама осталась у круглого окна.

При брате она никогда не плакала. Для этого был чердак — точнее, этот вот подоконник, в конце коридора, у круглого окна, откуда видно Сити. Здесь можно было плакать тихо, не утирая слёз, потому что их всё равно никто не видел, и разговаривать со звёздами. Звёзды над Лондоном были мутные, через дым, — но были. Они не перебивали. Это было их главное достоинство.

— Тётя, — сказала Джейн шёпотом. — Он нас не дал. Тот банкир. Он сказал «обычное число». А второй, в чёрном, — он врёт. Я знаю, что врёт. У меня напёрсток холодеет.

Напёрсток у неё на шее действительно был холодный. Он всегда холодел, когда рядом была неправда. Это началось после похорон, когда Джейн сняла его с тётиного пальца, ещё тёплый, и повесила себе на шею на шнурке. Она никому об этом не говорила. Ей бы всё равно не поверили. Взрослые не верят в напёрстки.

— Что мне делать, тётя? — спросила она.

Звёзды молчали.

Но на стекле круглого окна, у самой её щеки, мороз начал рисовать узор. Медленно, линию за линией, как рисуют пером. Сначала завиток. Потом второй, рядом. Потом третий. Ровными рядами.

Джейн смотрела на них, пока не заснула, прислонившись к раме. Ей снилась тётя, которая сидела где-то у камина и вязала.

Узор на стекле к утру растаял. А если бы Джейн не спала, она увидела бы, что завитки на нём были не листья и не перья. Это были петли. Двойная резинка.

Такая, как на носке.

Глава четвёртая. Первый сон

Мистер Эшфорд жил над банком, в двух комнатах, и спал в той, что выходила окном во двор.

Это была узкая комната с высоким потолком, обоями цвета овсянки (их клеил ещё дядя Джошуа, в 1819 году, и с тех пор они не стали ни хуже, ни лучше — просто стали старше, как и всё в этом доме), с железной кроватью, умывальником, шкафом, одним креслом и камином. Камин был хороший — мраморный, с медной решёткой, с полкой, на которой стояли часы под стеклянным колпаком. Решётку раз в неделю чистила миссис Пеннингтон, экономка, — до блеска, до золотого сияния, так что в ней можно было увидеть своё лицо, — хотя никто, кроме неё самой, в эту решётку никогда не смотрелся и в этом камине никогда не горел огонь.

Мистер Эшфорд считал, что топить спальню — это безумие. Спальня — это место, где спят. Спящий человек не чувствует холода, если хорошо укрыт. Следовательно, топить спальню — значит обогревать воздух, который никто не замечает. Мешок угля — шиллинг четыре пенса. Зима — сто двадцать дней. Даже при умеренном расходе…

Он знал, сколько это при умеренном расходе. Он лёг в постель в сюртуке, в шерстяных чулках, в митенках и в ночном колпаке, под два одеяла и плед, — и считал, засыпая, как другие люди засыпая молятся. Это его успокаивало. Цифры всегда его успокаивали. Они не менялись, не уходили, не умирали, не продавали дом с молотка и не отправляли тебя в Лондон к дяде в одной куртке. Цифры были верны. Единственное, что на этом свете было верно.

Часы на каминной полке пробили полночь. Над Ломбард-стрит медленно и тяжело прогудел колокол церкви Сент-Мэри-Вулнот, ему откликнулись Сент-Эдмунд и Сент-Клемент, и вдали, глухо, как из-под воды, — большой колокол Святого Павла. Наступило первое декабря.

Мистер Эшфорд спал.

* * *

Он проснулся оттого, что кто-то вязал.

Спицы постукивали. Тук-тук, тук-тук. Негромко, мерно, деловито, как постукивают часы или как капает вода из крана, — только мягче, деревяннее, уютнее. Этот звук не будил. Он, напротив, был из тех звуков, под которые хорошо спать, — как шорох дождя по крыше или как треск дров в печи. И мистер Эшфорд, проснувшись, некоторое время лежал, не открывая глаз, и слушал его, и не мог понять, откуда он его знает. А он его знал. Он знал его так хорошо, как знают голос матери, даже если не слышали его пятьдесят лет.

Потом он открыл глаза.

В комнате было светло. Не от свечи — свечу он погасил, — а от чего-то другого. Свет был бледный, голубоватый, холодный, как от луны, но луны в окне не было: окно выходило во двор, и во дворе было темно. Свет шёл от камина. Точнее, от кресла у камина.

В кресле сидела старушка.

Маленькая. Круглая. В кружевном чепце, завязанном под подбородком на бантик, и в клетчатой шали — красной с серым, — накинутой на плечи. Шаль была вся в инее. Иней лежал на ней, как сахарная пудра на пироге, и искрился, и на бахроме висели крошечные сосульки, которые позвякивали, когда старушка шевелила локтями. А шевелила она ими непрерывно, потому что вязала. В руках у неё были четыре деревянные спицы, гладкие и тёмные, и между ними висело красное вязанье, длинное, спускавшееся ей на колени, на пол, к ногам, — и мистер Эшфорд видел, как с каждым движением спиц прибавляется петля, ещё петля, ещё.

От старушки пахло гвоздикой и апельсиновой коркой.

Камин за её спиной был холодный. В нём не было ни угля, ни золы, только чёрная пустота и старая сажа. Но от старушки шло… мистер Эшфорд не сразу подобрал слово. Не тепло. Тепла не было: в комнате, наоборот, стало ещё холоднее, так холодно, что его дыхание поднималось

над подушкой белым паром и оседало инеем на краю одеяла. Но холод этот был другой. Он был не злой. Так бывает в детстве: приходишь с мороза, весь в снегу, щёки горят, пальцы не гнутся, — и тебя сажают к огню, и снимают мокрые варежки, и дают в руки кружку горячего молока, и ты сидишь и чувствуешь, как холод выходит из тебя — не спеша, с покалыванием, как выходят из комнаты гости, которых ты рад был видеть, но ещё больше рад проводить.



В кресле у холодного камина сидела старушка. Шаль на ней была вся в инее, а спицы постукивали: тук-тук.

Вот такой это был холод. Холод, который уходит.

— Ты не надел шарф, Мортимер, — сказала старушка, не поднимая глаз от вязанья. — Опять.

У мистера Эшфорда было много что сказать на это. Он хотел сказать: «Кто вы такая?» Он хотел сказать: «Как вы сюда попали? Двери заперты на три замка, ключи у меня под подушкой, а внизу, в конторе, — железная дверь и ещё одна железная». Он хотел сказать: «Немедленно покиньте мой дом, или я позову констебля». Он хотел сказать: «Это сон, и я сейчас проснусь». Он хотел сказать много разумных, правильных, надёжных вещей, какие говорят разумные, надёжные люди, когда видят у себя в спальне незнакомую старушку в инее.

Но во сне язык слушается плохо. И вместо всего этого он сказал одно слово:

— Няня?

Он не произносил этого слова пятьдесят лет. Он не знал, что оно в нём ещё есть. Оно вышло из него само, как выходит пузырёк воздуха со дна пруда, — и, выйдя, лопнуло, и мистер Эшфорд почувствовал, что у него горят глаза.

Старушка подняла голову и улыбнулась.

Лицо у неё было старое — очень старое, в морщинах, как печёное яблоко, — и глаза серые, бледные, почти белые, какие бывают у слепых. Но улыбка была та же. Та же самая. С ямочкой на левой щеке. Улыбка, с которой она стаскивала с него мокрую куртку и говорила: «У тебя голова дырявая или шарф?»

— Вот и вспомнил, — сказала она. — А говорили — не вспомнит. Говорили — у него там одни цифры. Я говорю — нет, у него там ящик. Ящик и ключ. Надо только найти ключ.

— Кто говорил? — спросил мистер Эшфорд.

— Те, кто там, — сказала старушка и кивнула куда-то в сторону окна, где на стекле, он только сейчас заметил, мороз нарисовал узор — сплошной, густой, белый, как кружево её чепца. — По ту сторону. Там много кто есть, Морти. Там все, кто замёрз. Нас много в Лондоне. Больше, чем ты думаешь. Больше, чем стоит в твоих книгах.

— Вы… замёрзли? — спросил мистер Эшфорд.

Старушка не ответила. Она вернулась к вязанью. Спицы постукивали: тук-тук, тук-тук.

— Не всё то тепло, что горит, — сказала она. — Ты это забыл. Ничего. Я напомню. У меня есть время до Двенадцатой ночи. Три раза я могу прийти. Три раза — по холоду. Ты сам открыл мне дорогу, Морти. Если бы ты топил свою спальню, как все добрые люди, я бы не прошла. Огонь нас не пускает. А у тебя холодно. У тебя так холодно, что я дошла от самой Тули-стрит, не замёрзнув ещё раз.

— Тули-стрит, — повторил мистер Эшфорд.

Слово было знакомое. Он слышал его недавно. Совсем недавно. Сегодня. Нет, вчера. Девочка в зелёном. Письмо. Пять фунтов.

— Тули-стрит, — сказала старушка. — Да.

И больше ничего не сказала. Она вязала. Красное вязанье ползло у неё по коленям, и мистер Эшфорд смотрел на него не мигая и чувствовал, как холод, который уходит, выходит из него — из пальцев, из ступней, из груди, где он сидел тридцать лет, свернувшись, как кот, — и как на его место приходит что-то другое. Он не знал, как это назвать. У него не было для этого цифры.

Он заснул. Крепко, глубоко, без снов — как не спал с тех пор, как ему было восемь лет и у него на ногах были красные носки.

* * *

Утром он проснулся в половине седьмого, как всегда, и некоторое время лежал, глядя в потолок.

Потолок был тот же. Обои цвета овсянки — те же. Часы на каминной полке показывали половину седьмого, как всегда. Кресло у камина стояло пустое. Окно было тёмное, но уже не чёрное — серое; на стекле лежал обычный морозный узор, листья и перья, ничего особенного. В комнате было холодно — как всегда.

«Сон, — подумал мистер Эшфорд. — Разумеется, сон. Несварение. Я вчера съел хлеб с маслом, а масло было вчерашнее. Миссис Пеннингтон экономит на масле. Хорошо, что экономит. Но масло было вчерашнее».

Это объяснение его успокоило. Он сел в постели, нащупал ногами домашние туфли, встал — и увидел.

На каминной решётке, на медной, начищенной до золотого блеска, висел носок.

Красный. Шерстяной. Вязанный двойной резинкой. Недовязанный — без пятки, и из последних петель торчали четыре деревянные спицы, гладкие, тёмные, как каштаны. Он висел на решётке, зацепившись резинкой за медный завиток, и был мокрый. Весь. Насквозь. С него капало — медленно, по капле, на мраморную плиту перед камином, где уже натекла маленькая лужица. А по красной шерсти, по каждой петле, тянулся иней — белый, тонкий, искристый, — и таял на глазах, и превращался в капли, и капли падали.

Мистер Эшфорд стоял и смотрел на носок.

Он стоял долго. Потом подошёл, снял носок с решётки — двумя пальцами в митенке, за уголок, как берут что-нибудь, что может испачкать, — и поднёс к глазам.

Шерсть была холодная, как лёд. А спицы — тёплые. Тёплые, как будто их только что выпустили из рук.

Он перевернул носок. Пятки не было. Но там, где она должна была начаться, на последнем ряду, была завязана нитка — маленький, аккуратный узелок, — будто кто-то пометил место, откуда продолжать.

* * *

— Миссис Пеннингтон! — позвал он.

Голос у него был обычный. Сухой, ровный, деловой. Он проверил это, прежде чем позвать. Он сказал про себя «миссис Пеннингтон» три раза, чтобы убедиться, что голос не дрогнет. Голос не дрогнул.

Экономка поднялась по лестнице через минуту. Она всегда поднималась через минуту — ни раньше, ни позже, — потому что за двадцать два года службы научилась рассчитывать время, нужное, чтобы отложить работу, вытереть руки, поправить чепец и подняться на второй этаж, так же точно, как мистер Эшфорд рассчитывал проценты.

Миссис Абигейл Пеннингтон была женщина строгая. Ей было сорок девять лет. Она носила чёрное шерстяное платье с высоким воротом, белый накрахмаленный передник и белый чепец, накрахмаленный так, что он, кажется, мог бы стоять сам, без головы. На поясе у неё висел шатлен — серебряная цепочка с крючками, на которых висели ключи от кладовой, от буфета, от бельевого шкафа, ножнички, игольница и маленький медный напёрсток. Лицо у неё было узкое, бледное, с тонкими губами и прямым носом; волосы — тёмные с проседью, гладко убранные под чепец. Она пахла воском и лавандой: воском — от натёртых полов, лавандой — от мешочков, которые она клала в бельё. Она никогда не улыбалась при хозяине. Хозяин никогда не улыбался при ней. Это было их взаимное соглашение, никогда не высказанное вслух и никогда не нарушенное, — как многие соглашения в английских домах.

— Сэр? — сказала она.

— Кто это повесил? — спросил мистер Эшфорд и протянул ей носок.

Миссис Пеннингтон взяла носок.

И лицо у неё дрогнуло.

Мистер Эшфорд это видел. За двадцать два года он ни разу не видел, чтобы лицо миссис Пеннингтон дрогнуло, — ни когда у неё в 1849 году умерла мать, ни когда в 1854-м под Балаклавой погиб её единственный брат, ни когда в 1858 году кухарка подожгла кухню. А сейчас дрогнуло. Губы, всегда сжатые в нитку, разжались. Ноздри побелели. Пальцы, которые держали носок, сжались так, что побелели и они.

Она перевернула носок и посмотрела на последний ряд. На узелок.

— Двойная резинка, — сказала она тихо. Не хозяину. Себе. — И узелок. На том месте, где пятка. Она всегда так делала. Всю жизнь. Чтобы не потерять, откуда продолжать.

— Кто — она? — спросил мистер Эшфорд.

Миссис Пеннингтон подняла глаза. Они были мокрые.

— Так вязала моя кузина Маргарет, сэр, — сказала она. — Маргарет Пеннингтон. Только я не видела её двадцать лет. Мы поссорились. Из-за пустяка.

Мистер Эшфорд почувствовал, как пол под ним качнулся — легко, едва заметно, как качается палуба, когда корабль отходит от причала.

— Глупости, — сказал он. Голос не дрогнул. Он позаботился об этом заранее. — Носки вяжут все одинаково. Двойной резинкой — половина Англии. А узелки… Узелки завязывают все. Это сквозняк. Бельё со двора. Кто-нибудь развесил стирку у соседей, и ветер… Выбросьте это, миссис Пеннингтон.

— Да, сэр, — сказала миссис Пеннингтон и не двинулась с места.

— Впрочем, — сказал мистер Эшфорд, — не надо. Дайте сюда.

Он взял носок обратно. Спицы были всё ещё тёплые.

— Я сам, — сказал он. — Можете идти.

Миссис Пеннингтон ушла. Он слышал, как она спускается по лестнице, — медленнее, чем всегда. Гораздо медленнее.

А мистер Эшфорд спустился в контору, в маленькую комнату, сел за стол, выдвинул верхний ящик — тот, где лежали чистые перья, сургуч и печать «Эшфорд и Ко», — и положил

туда носок. Аккуратно. Спицами вверх. Задвинул ящик. Запер его на ключ. Положил ключ в жилетный карман.

И весь этот день, первого декабря тысяча восемьсот шестьдесят пятого года, сверяя балансы, подписывая векселя, принимая клиентов и отказывая клиентам, — мистер Мортимер Эшфорд нет-нет да и отпирал ящик. И выдвигал его на дюйм. И смотрел.

Будто проверял, на месте ли.

Носок был на месте. Высох к полудню. Спицы оставались тёплыми до самого вечера.

А в камине в тот день, впервые за тридцать два года, горели две головни.

Фэрроу заметил это в девять утра и до вечера не мог прийти в себя.

Глава пятая. Миссис Пеннингтон

В воскресенье, третьего декабря, миссис Абигейл Пеннингтон впервые за двадцать два года службы попросила выходной не в положенный день.

Положенный день у неё был — каждое второе воскресенье месяца, после обеда, с трёх до девяти. В эти шесть часов она ходила в церковь Сент-Мэри-Вулнот к вечерне, потом пила чай у своей знакомой, вдовы аптекаря на Чипсайде, и возвращалась ровно в девять, ни минутой позже, потому что в девять мистер Эшфорд запирал двери на все три замка и после этого не открыл бы их даже Её Величеству королеве. Так было двадцать два года. Каждое второе воскресенье.

Третье декабря было первым воскресеньем.

— Мне нужно в Саутварк, сэр, — сказала она утром, подавая хозяину хлеб и воду. — По семейному делу. Если позволите.

Мистер Эшфорд поднял на неё глаза. Он был бледнее обычного. Он плохо спал — то есть спал он хорошо, как ни странно, и снов больше не видел, но два раза за ночь просыпался и смотрел на кресло у камина. Кресло было пустое.

— По семейному делу, — повторил он.

— Да, сэр.

— Ваша кузина.

Миссис Пеннингтон помолчала.

— Да, сэр.

Мистер Эшфорд помолчал тоже. Потом сказал то, чего сам от себя не ожидал:

— Возьмите кеб. Туда и обратно. Я оплачу.

Миссис Пеннингтон так удивилась, что забыла сказать «спасибо». Мистер Эшфорд так удивился, что забыл заметить, что она забыла. Кеб от Ломбард-стрит до Тули-стрит стоил шиллинг — это была миля с небольшим, через мост. Туда и обратно — два шиллинга. Два шиллинга — это полтора мешка угля. Это хлеб на месяц. Это…

Он перестал считать. Это было так непривычно, что он испугался и до вечера не выходил из маленькой комнаты.

* * *

Кебмен, который взялся везти миссис Пеннингтон, оказался огромным, как платяной шкаф, с рыжей бородой, в которой застрял иней, и с клетчатым пледом на плечах. Его лошадь, старая, толстая, гнедая кобыла с белой звёздочкой на лбу, стояла у тротуара с таким видом, будто это она, а не кебмен, здесь главная и будто она ещё подумает, везти ли.

— На Тули-стрит, мэм? — сказал кебмен басом, от которого задрожали стёкла в соседнем банке. — Это нам по пути. Нам всё по пути, что за мостом. Мисс Пудинг, слышишь? На Тули-стрит. Домой, считай.

Кобыла фыркнула и тронулась сама, не дожидаясь кнута.

— Её зовут Мисс Пудинг? — спросила миссис Пеннингтон, усаживаясь в кеб и расправляя юбку.

— Её так назвали дети, мэм, — сказал кебмен с облучка, сверху, через окошечко в крыше, откуда были видны только его борода и кончик носа. — Приютские. Она у меня толстая и тёплая, вот и Пудинг. А «мисс» — потому что она дама. Она не любит, когда её зовут без «мисс». Встаёт и не идёт. Я Джон Флетчер, мэм. Весь Саутварк меня знает. Если что — спросите Флетчера, кеб у Сент-Олава.

— Вы знали Маргарет Пеннингтон? — спросила миссис Пеннингтон. — Она жила на Тули-стрит. Вязала на продажу.

Кебмен помолчал. Кеб въехал на Лондонский мост, и в окне поплыла Темза — серая, со льдинами, с баржами, — и купол Святого Павла позади, и Тауэр впереди справа, приземистый, тёмный, как старый бульдог.

— Тётушку Маргарет? — сказал Флетчер наконец, и голос у него стал тише — насколько вообще мог стать тише такой голос. — Знал, мэм. Кто ж её не знал. Она мне плед вот этот связала, на котором я сижу. В пятьдесят девятом. Сказала: «Джон, у тебя спина как у медведя, а укрываешься ты как воробей. Не годится». И связала. Бесплатно. Я хотел заплатить — она не взяла. Сказала: «Довезёшь когда-нибудь куда надо — и будем квиты».

— Довезли?

— Не успел, мэм, — сказал Флетчер. — Её я довёз только один раз. На кладбище. В январе прошлого года. Мисс Пудинг шла шагом всю дорогу. Сама. Я её не просил.

Миссис Пеннингтон отвернулась к окну.

Они спустились с моста на Боро, свернули на Тули-стрит, проехали мимо тёмной квадратной башни Сент-Олава, мимо высокого кирпичного дома с золотой надписью «Дом Джека и Билли» и остановились у лавки напротив — «Хоббс. Всякая всячина».

— Вот здесь она жила, мэм, — сказал Флетчер, спрыгивая с облучка так, что кеб качнулся. — Над Хоббсом. На третьем этаже, окно с краю. Сейчас там другие живут. А вам бы к самому Хоббсу. Он всё про всех знает. А что не знает Хоббс — знает Грэйвз. Гробовщик, на Боро. Это кто помер. А кто жив — это Хоббс.

* * *

Лавка «Хоббс. Всякая всячина» оказалась тесной, тёмной и такой набитой вещами, что миссис Пеннингтон, войдя, на секунду остановилась на пороге, как останавливаются у края пруда, прежде чем зайти в воду.

Здесь было всё. Свечи — сальные по пенни, восковые по три. Спички в коробках и спички пучками. Мыло — бурое хозяйственное и розовое туалетное, по одному куску в витрине, как экспонат. Нитки на катушках — всех цветов. Шерсть в мотках — серая, бурая, синяя и красная. Иголки, булавки, пуговицы в стеклянных банках. Гвозди в ящиках. Мышеловки — на гвоздях по стене, как охотничьи трофеи. Ленты. Шнурки. Чернила. Сургуч. Сахарные леденцы в высокой банке на прилавке — два за фартинг, красные и жёлтые, — и рядом табличка, написанная от руки: «Детям в долг не отпускаю. Отпускаю даром. Э. Х.».

Над дверью висел медный колокольчик. Когда миссис Пеннингтон вошла, он звякнул — чисто, коротко, как звякает ложечка о стакан.

— Чистый, — сказал голос из-за прилавка. — Хорошо. Входите, мэм, раз чистый.

Из-за прилавка поднялся старик.

Он был очень старый — лет под семьдесят — и очень сгорбленный, так что, даже выпрямившись, смотрел на посетителя снизу вверх, как смотрит воробей с подоконника. У него были белые бакенбарды, пушистые, как два комка ваты, и лысая голова, покрытая коричневыми пятнами, как старая карта неизвестных земель. На носу — очки на чёрном шнурке. На руках — вязаные митенки, серые, с красной каймой. На нём был коричневый жилет с медными пуговицами и холщовый фартук.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.